



Е. К. ГЕРЦЫК

Воспоминания

<фрагмент>

О скольких не упоминаю я в моих воспоминаниях. Но одну дружбу-вражду не хочу обойти молчанием. Началась она много раньше описываемых лет: в <1>906 году наша двоюродная сестра вышла замуж за студента Ильина¹. Недавний революционер-эсдек (он был на памятном съезде в Финляндии в 1905 г.²), теперь неокантианец, но сохранивший тот же максимализм, он сразу порвал с родней жены, как раньше со своей, насквозь буржуазной, но почему-то исключением были мы с сестрой, и он потянулся к нам со всей присущей ему пылкостью. Двоюродная сестра не была нам близка, но — умная и молчаливая — она всю жизнь делила симпатии мужа, немножко ироническая к его горячности. Он же благоговел перед ее мудрым спокойствием.

Молодая чета жила на гроши, зарабатываемые переводом: ни он ни она не хотели жертвовать временем, которое целиком отдавали философии. Оковали себя железной аскезой — все было строго расчислено, вплоть до того, сколько двугривенных можно в месяц истратить на извозчика; концерты, театр под запретом, а Ильин страстно любил музыку и Художественный театр. Квартирка, две маленькие комнатки, блистала чистотой — заслуга Натальи, жены. Людей, друзей в их обиходе не было. Ильин оставлен при университете на кафедре философии права, но теперь, влекомый к чистой философии, возненавидел и право, и профессора по кафедре — Новгородцева³, и сотоварящий. Всегда вдвоем — и Кант. Позднее — Гегель, процеженный сквозь Гуссерля⁴. И так не год, не два. Винт завинчивался все туже. И вот как отдушина — влечеение к сестрам, таким непохожим на них, носимым туда-сюда прихотью сменяющихся вкусов: Ницше, античность, модернизм, восточная мистика...

То, что отвращало в других, — в нас влекло. Бывают такие причуды.

Когда же наши пристрастия из книжных превратились в живых людей и Ильины стали встречать у нас Волошина, Бердяева, Вяч. Иванова⁵, стало площе: с неутомимым сыском Ильин ловил все слабости их, за всеми с торжеством вскрывал «сексуальные извращения». И между нами и Ильиними прошла трещинка, вражда, сменявшаяся опять моментами старинной дружественности. Способность ненавидеть, презирать, оскорблять идейных противников была у Ильина исключительна, и с этой, только с этой, стороны узнали его москвики тех лет, таким отражен он в воспоминаниях Белого⁶. Ненависть, граничащая с психозом. Где, в чем источник ее? Может быть, отчасти и в жестоких лишениях его юных лет: ведь во имя построений отвлеченной мысли он запрещал себе поэзию, художественный досуг, все виды сладостраствия, душевного и материального, все, до чего жадна была его душа. Знакомство с Фрейдом⁷ было для него откровением: он поехал в Вену, прошел курс лечения-бесед, и сперва казалось, что-то улегчилось, расширилось в нем. Но не отомкнуть и фрейдовскому ключу замкнутое на семь поворотов.

В годы, о которых и пишу, Ильины уже не нуждались: то ли наследство какое-то — помню его большой кабинет с рядами книг, с камином и кожаной мебелью. Как нерусским был он в своей аскетической выдержанке, так нынче не по-русски откровенно наслаждался комфортом, буржуазным благополучием. По матери — немецкой крови⁸, светлоглазый, рыжеватой масти, высокий и тонкий, Иван Ильин — тип германца. И как бывает порой с русскими немцами, у него была ревнивая любовь к русской стихии — неразделенная любовь. Страстно любил Художественный театр, выискивая в игре его типично русские черты, любил Чехова, любил Римского-Корсакова так, как любят любовницу, ненавидя тех, кто тоже смеет любить; любил, не всегда различая некоторую безвкусицу, например в сусально-русских былинах Алексея Толстого⁹. Выйдет из кабинета на маленький заснеженный балкончик и влюбленно смотрит на «свою Москву», говорит подчеркнуто по-московски, упивается пейзажем Нестерова¹⁰. В послереволюционные годы он близко сошелся с самим художником, и тот написал его с книгой в руках идущим вдоль тусклого озера и скучных березок — этаким светловолосым мечтателем. И вправду, за злобными выпадами копошились в нем нежнейшие ростки — *deutsches Gemut*¹¹. В 15—16-е годы уже не мы одни с сестрой объект его сентимен-

тальной дружбы — он упоен сближением с композитором Николаем Метнером¹², предан Любови Гуревич¹³, дружит с одним умным и тонким евреем, толкователем Ницше, — и везде его дружба напарывается на шипы: здесь враждебный ему Ницше, а Метнер — приятель Белого, особенно ненавистного Ильину. К нам, в Кречетниковский, они теперь заглядывают редко: трудно выкроить вечер, чтобы у нас наверняка никого не было. А придет Ильин — весь дружественно раскрытый, и не нам одним — всему, что окружает сестру: благоволит немножко свысока к ее мужу, удостаивая его философской дискуссии, возится с мальчиком, бегает по комнате, дурачится. Едко и зло пародирует молодых московских когенианцев, риккерианцев... Смеемся, хотя для нас что презираемый им Коген¹⁴, что читимый Гуссерль — одна мура! Но вот раскрытая книга с авторской надписью на столе — толчок к язвительному насекому на кого-нибудь из наших друзей. Мы — на дыбы. Слово за словом все резче. Расстаемся в холоде. А через день от него покаянное письмо. И опять все сызнова. Скучная канитель! Думается, что, если бы его писательский дар был ярче и ему удалось выбросить из себя злобу в желчных статьях, он в жизни был бы мягче. Но, упрямо насилия себя, он годы и годы пишет все одну книгу о Гегеле. Мне так и не довелось прочесть ее. И не удержала в памяти его толкования Гегеля и вообще — стержня лично его, ильинских, мыслей: долгими и бесплодными были отношения — совсем незачем, так, грех попутал.

Но нынче, в час суда над прошлым, спрашиваю себя: не во мне ли отчасти вина? Будь я сама тогда свободней от чужих влияний, будь до конца собою, разве не соприкоснулась бы я с глубью его духа — все равно, для осуждения ли или для помощи?

В двадцать втором году Ильин среди многих других был выслан за границу. Они прочно осели в Берлине и с тех пор канули для нас в неизвестность. Жив ли он? Во всяком случае, встреча с фашизмом не могла не быть ему и возмездием, и суровым испытанием.

